

Посвящается
Эдварду Фрэнсису О'Коннору
(1896–1941)

От дней же Иоанна Крестителя
доныне Царство Небесное силою берется,
и употребляющие усилие восхищают его.
Мф. 11:12

ЧАСТЬ I

ГЛАВА 1

Не прошло и дня с тех пор, как дед Фрэнсиса Мариона Таруотера помер, а мальчишка был уже в стельку пьян. По этой самой причине ему и не удалось до конца отрыть для старика могилу, и завершать начатое пришлось негру по имени Бьюфорд Мансон, который пришел за самогоном. Он оттащил покойника от стола, где тот сидел за накрытым завтраком, и похоронил его как подобает, по-христиански, с символом Спасителя нашего в головах, а могильный холм он сделал достаточно высоким, чтобы его не разрыли собаки. Бьюфорд пришел около полудня, а когда уходил на закате, мальчишка, Таруотер, все еще не прочухался.

Старик приходился Таруотеру двоюродным дедом, по крайней мере он так говорил, и, насколько мальчик помнил, они всегда жили вместе. Дед говорил, что ему было семьдесят лет, когда он спас мальчика и взялся за его воспитание, а умер он, когда ему было восемьдесят четыре. Выходит, самому Таруотеру должно быть четырнадцать лет, подсчитал Таруотер. Дед научил его Счету, Чтению, Письму и Истории, которая начиналась с того, как Адама выгнали из Райского Сада, а потом шла через всех президентов вплоть до Герберта Гувера и далее на перспективу как раз до Второго Пришествия и Страшного суда. Дед не

только дал мальчику хорошее образование, но и спас его от другого имевшегося в наличии родственника, племянника старого Таруотера; тот был школьный учитель, своих детей на тогдашний момент не имел, а потому этого, оставшегося от сестры-покойницы, хотел воспитать в духе собственных идей.

Старик знал его как облупленного, со всеми его идеями. Три месяца он жил в доме у своего племянника — из Милости, как ему поначалу казалось, а потом, по его собственным словам, до него дошло, что никакая Милость там и близко не лежала. Все время, пока он там жил, племянник тайно изучал его. Этот самый племянник, который принял его как бы из Милости, на самом деле норовил залезть к нему в душу через черный ход, задавал двусмысленные вопросы, расставлял по всему дому ловушки и наблюдал, как старик в них попадает, а кончилось все это статей в журнале для школьных учителей. Смрад от подобного нечестия восстал до небес, и Господь собственноручно спас старика. Он ниспослал ему Видение, приказав умыкнуть сироту и отправиться вместе с ним в самую что ни на есть отдаленную пустынь и воспитать младенца во Славу Искупления грехов людских. Господь пообещал ему долгую жизнь, и старик, утащив ребенка прямо из-под носа у школьного учителя, поселился с ним среди лесов, на вырубке под названием Паудерхед, на которую у него было право пожизненного владения.

Старик называл себя пророком, и мальчика воспитал в убеждении, что Господне призвание непременно снизойдет и на него тоже, и готовил внука к тому дню, когда это произойдет. Он научил его, что путь пророка тернист, и на долю ему выпадают разные бедствия, и бедствия мирские суть пустяк

в сравнении с теми, что посланы Господом, дабы испепелить пророка истиной. Его самого Господь тоже испепелял — и не раз. И через огонь Господень ему даровано было знание.

Он был призван в годы ранней юности и направил стопы свои в город возвестить о гибели, что ожидала мир, ибо мир отрекся от Спасителя. Неистово вещал он, что узрят человеки, как солнце взорвется в крови и пламени; но пока он бушевал и возвещал грядущие бедствия, солнце каждое утро вставало, спокойное и самодовольное, как будто не то что человеки, но даже сам Господь не слышал пророчеств и не внял их смыслу. Оно вставало и садилось, вставало и садилось над миром, и мир своим чередом становился то белым, то зеленым; то белым, то зеленым; то белым, то опять зеленым. Оно вставало и садилось, и он уже отчаялся, что Бог когда-нибудь услышит его. Но однажды утром он с восторгом увидел, как вышел из светила перст огненный, и не успел старик отвернуть лицо свое, не успел закричать, как перст сей коснулся его и предсказанная гибель постигла его собственный разум и собственную плоть. Не кровь человеков иссохла в жилах их, но — его кровь.

Многому научившись на своих ошибках, дед имел право наставлять Таруотера — когда мальчик был не прочь послушать — в нелегком деле служения Господу. Таруотер имел на сей счет свои собственные соображения и слушал старика в нетерпеливой уверенности, что уж он-то точно никаких ошибок не наделает, когда придет время и Господь его призовет.

Господь еще не раз вразумлял старика пламенем, но с тех пор, как дед забрал Таруотера у школьного учителя, такого больше не случалось. В тот раз ви-

дение было отчетливым и ясным. Он знал, от чего спасает мальчика, и делал это во спасение, а не погибели для. Он многое постиг и ненавидел грядущую погибель мира, но не сам мир.

Рейбер, школьный учитель, вскорости выяснил, где они поселились, и явился на вырубку, чтобы забрать младенца. Машину ему пришлось оставить на проселке и целую милю идти пешком через лес по едва заметной тропинке, прежде чем он добрался до засаженного кукурузой клочка земли, посреди которого стояла ветхая двухэтажная лачуга. Старик часто и с удовольствием рассказывал Таруотеру, как мелькало в кукурузе красное, вспотевшее, исколотое колючками лицо племянника и за ним — розовая шляпка с букетиком: потому что племянник притащил с собой женщину из службы социальной защиты. В тот год кукурузное поле у деда начиналось в четырех футах от крыльца, и когда учитель выбрался из кукурузы, в дверях появился старик с дробовиком и крикнул, что пристрелит любого, кто ступит ногой на крыльцо, и покуда женщина из соцзащиты, взъерошенная, как несушка, которую согнали с кладки, выкарабкивалась из кукурузы, эти двое стояли и пристально смотрели друг на друга. Старик говорил, что, если бы не женщина из соцзащиты, племянник бы даже не дернулся. Колючки кустов до крови расцарапали им лица, а у женщины из соцзащиты к рукаву кофты прицепилась веточка ежевики.

Она всего-то навсего перевела дыхание, медленно, так, словно дошла до последней крайности, но племяннику и этого было достаточно, он поднял ногу и поставил ее на ступеньку крыльца, и старик прострелил ему ногу. Для Таруотеровой пользы он рассказывал, как на лице племянника появилось выражение праведного

гнева, и эта самая праведность так взбесила его, что он поднял дробовик немного повыше и снова нажал на курок, на этот раз отстрелив кусочек учительского правого уха. Второй выстрел выбил из племянника всякую праведность, его лицо стало пустым и белым, обнаружив полную пустоту внутри, обнаружив — в чем старик время от времени готов был признаться — и собственное его поражение, ибо когда-то очень давно он пытался, но не сумел спасти племянника. Он выкрал его семилетним младенцем, увез в пустынь, окрестил и поставил на путь истинный, рассказав об Искуплении, но через несколько лет племянник забыл наставления и избрал себе другую стезю. Иногда старику начинало казаться, что он сам толкнул племянника на этот новый путь, он замолкал на полуслове, замолкал и застывал, тупо уставившись перед собой так, словно у ног его разверзлась бездна.

Тогда он удалялся в лес, оставив Таруотера на вырубке одного, порой на несколько дней, пока ему не удавалось сторговаться с Господом и восстановить на душе мир, а когда дед возвращался, растрепанный и голодный, мальчику казалось, что вид у него и впрямь как у настоящего пророка. Вид у него был такой, будто он всю ночь боролся с дикой кошкой, и в голове у него все еще теснятся видения, которые открылись ему в ее желтых глазах, — светящиеся колеса и странные звери с гигантскими огненными крыльями и о четырех головах, которые были повернуты на четыре стороны света. И Таруотер в такие минуты знал, что, когда его призовут, он скажет: «Вот я, Господи!» Но иногда в дедовых глазах не горело огня, и он говорил только о зловонной, потной тяжести креста, о том, что люди принимают второе рождение только затем, чтоб умереть, и целую жизнь проводят,

проедая хлеб жизни, и тогда мальчик отпускал свои мысли на волю, и они разбредались котորая куда.

Старикова мысль не всегда скользила вдоль этой истории на одной и той же скорости. Иногда, словно не желая вспоминать о том, как он подстрелил собственного племянника, дед перескакивал через соответствующий эпизод и подробно останавливался на том, где эта парочка, племянник и женщина из соцзащиты (у нее даже имя и то было смешное: Берника Пресвитер), удирали прочь, шелестя кукурузой, и как вопила на ходу женщина из соцзащиты: «Что ж вы сразу не сказали? Знали же, что он псих!»; а потом он побежал на второй этаж и смотрел из окошка, как они выбрались наконец из кукурузы на другом конце поля, и женщина обхватила племянника за талию, чтобы он не упал, и тот ускакал на одной ноге в лес. Потом-то старик узнал, что он на ней женился, хотя она и старше его в два раза, но больше одного ребенка выродить с ней, понятное дело, так и не смог. И дорожку в Паудерхед заказала ему именно она.

А Господь, говорил старик, упас этого единственного ребенка, которого учитель выродил со своей женой, от родительской порчи. Он избрал единственно возможный путь спасения: мальчонка родился идиотом. Здесь старик делал паузу, дабы Таруотер ощутил всю силу этого таинства. С тех пор как дед узнал о существовании ребенка, он несколько раз предпринимал походы в город с целью выкрасть младенца и окрестить его, но всякий раз возвращался ни с чем. Школьный учитель был начеку, да и старику к тому времени умыкать детей стало не так легко, как прежде, — он растолстел и подрастерял былую сноровку.

— Если смерть помешает мне окрестить его, — сказал старик Таруотеру, — придется тебе это сделать.

И это будет первая миссия, которую Господь пошлет тебе.

Мальчик сильно сомневался в том, что крещение идиота может стать его первой миссией.

— Ну уж нет, — сказал он, — Господь вовсе не хочет, чтобы я доделывал то, что после тебя останется. Для меня у него припасено кое-что другое. — И он подумал о Моисее, который извел воду из скалы, об Иисусе Навине, который остановил солнце, о Данииле, взглядом укротившем львов.

— Думать за Господа не твоя забота, — сказал дед. — И суд его возденет кости твои.

В то утро, когда старику пришла пора помереть, он, как обычно, спустился вниз, приготовил себе завтрак и помер, так ничего и не съев. Весь первый этаж у них занимала кухня, большая и темная, с дровяной печью в одном конце и широким столом возле печки. По углам стояли мешки с запасами еды и кукурузного солода, а всякие железки, опилки, старые веревки, лестница и прочее барахло валялось там, где их бросил старик — или Таруотер. Раньше они и спали на кухне, но однажды ночью в окно забралась рысь, и напуганный старик перетащил кровать наверх, где имелись две пустые комнаты. Он тогда напроорочил, что лестница будет стоять ему десяти лет жизни. Перед тем как умереть, он сел за стол, взял красной квадратной рукой нож и стал подносить его ко рту, но тут вдруг вид у него сделался удивленный до крайности, он стал опускать руку, пока она не опустилась на край тарелки и не сшибла ее со стола.

Старик был похож на быка. Голова у него росла прямо из плеч, а белесые глаза навывкате выглядели как две рыбы, которые попали в красную нитяную сеть

и все пытаются вырваться. Он носил шляпу невнятного, как оконная замазка, цвета, с загнутыми вверх полями, и поверх нательной фуфайки — серое пальто, которое когда-то было черным. Таруотер, сидевший за столом напротив него, увидел, как у деда на лице выступили красные полосы, как следы от веревок, а по телу прошла дрожь, похожая на землетрясение, которое началось прямо в сердце и постепенно поднимается к поверхности. Его рот резко съехал на сторону, и он так и остался сидеть, не теряя равновесия: между его спиной и спинкой стула было добрых шесть дюймов, а животом он упирался в край стола. Взгляд белесых мертвых глаз остановился прямо на мальчике.

Таруотер почувствовал, как дрожь стала другой и как она добралась уже до него самого. До старика можно было даже не дотрагиваться — и так было понятно, что он умер; и мальчик продолжал сидеть за столом напротив трупа, угрюмо и растерянно доканчивая завтрак, словно находился в присутствии незнакомца и не знал, что сказать. Наконец он сказал ворчливо:

— Не гони, да? Я ведь уже сказал, что сделаю все как положено.

Голос показался каким-то чужим, будто смерть изменила не деда, а его самого.

Он встал и вышел на заднее крыльцо, прихватив с собой свою тарелку, которую поставил на нижнюю ступеньку, и два черных длинноногих бойцовских петуха тут же дернули к нему через весь двор и склевали то, что на ней осталось. На заднем крыльце стоял длинный сосновый ящик. Мальчик сел на него, и его руки стали машинально распутывать веревку, а длинное лицо уставилось через вырубку куда-то поверх леса, который уходил вдаль серыми и багряными

волнами, пока у самого горизонта не превращался в зубчатую крепостную стену, подпиравшую пустое утреннее небо.

Паудерхед располагался в стороне не только от грунтовки, но и от ближайшего проселка, и от прохожих троп, и, чтобы добраться до него, ближайшим соседям, цветным, не белым, приходилось идти через лес, продираясь сквозь густую сливовую поросль. Когда-то здесь стояли два дома; теперь дом был только один, и мертвый его хозяин сидел внутри, а живой — снаружи, на крыльце, и собирался хоронить мертвого. Мальчик знал: сперва придется похоронить старика, иначе никак. Такое впечатление, что, если не присыплешь его землей, он как бы и не совсем мертвый. И думал он об этом даже с некоторым облегчением, потому что так меньше давала о себе знать другая тяжесть, угнездившаяся внутри.

Несколько недель назад старик заделал под кукурузу еще один акр земли, слева, и перевалил даже через изгородь, так что эта полоска тянулась теперь почти до самого дома. Получилось, что ровно посередине участок разделен двумя нитями колючей проволоки. Туман горбатыми клубами подбирался к изгороди, готовясь нырнуть под него и дальше ползти по двору, как охотничья собака.

— Я эту изгородь уберу, — сказал Таруотер. — Не надо мне никакой изгороди посреди моего участка. — Голос у него оказался неожиданно громким и резал ухо. Мысленно он продолжил: не тебе здесь хозяйничать. Школьный учитель теперь тут хозяин.

Это моя земля, потому что я здесь живу, и никто меня отсюда не выставит. Если какой-нибудь там школьный учитель вздумает явиться сюда и качать права, я его убью.

Господь может выставить тебя отсюда, подумал он. Вокруг стояла мертвая тишь, и мальчик почувствовал, как у него набухает сердце. Он затаил дыхание, будто ждал, что вот-вот услышит глас небесный. Через несколько секунд он услышал, как под крыльцом скребется курица. Он яростно вытер рукой нос, и понемногу на лицо его вернулась привычная бледность.

На нем были выцветший комбинезон и серая шляпа, натянутая на уши как кепка. У деда было в обычае никогда не снимать шляпу, разве что только на ночь, и мальчик тоже следовал этому обычаю. До сего дня он всегда следовал дедовым обычаям; но если я захочу убрать эту изгородь до того, как похороню старика, ни одна живая душа не сможет мне помешать, подумал он; и слова никто поперек не скажет.

Сперва похорони его, и дело с концом, сказал чужой голос громко и каким-то мерзким тоном. Мальчик встал и пошел искать лопату.

Сосновый ящик, на котором он сидел, был гроб для деда, но употреблять его в дело Таруотер не собирався. Старик был слишком тяжелый для того, чтобы тощий пацаненок смог в одиночку перевалить его через борт, и хотя старый Таруотер несколько лет назад собственноручно соорудил себе этот гроб, но сказал, что, если, когда придет время, мальчик не сдюжит положить его туда, можно будет просто опустить его в яму как есть, нужно только, чтобы яма была достаточно глубокой. Он сказал, что хочет лежать на глубине в десять футов, а не в каких-нибудь восемь. Ящик он мастерил долго, а когда закончил, нацарапал на крышке МЕЙСОН ТАРУОТЕР, С БОГОМ, забрался в него, прямо там же, на заднем крыльце, и какое-то время лежал, так что наружу торчал только его

живот, как переквашенный хлеб над краем формы. Мальчик стоял рядом с ящиком и разглядывал его.

— Все там будем, — удовлетворенно сказал старик, и его скрипучий голос уютно угнездился между стенками гроба.

— Больно ты здоров для этого ящика, — сказал Таруотер. — Пожалуй, придется сесть на крышку и поднажать или подождать, пока ты чуток подгниешь.

— Не надо, — сказал старый Таруотер. — Слушай. Если, когда придет время, у тебя не хватит сил пустить этот ящик в дело, ну, там, поднять его или еще что, просто опусти меня в яму, но только чтобы глубоко. Я хочу, чтобы в ней было десять футов, не каких-нибудь восемь, а десять. Можешь просто подкатить меня к ней, если по-другому не выйдет. Катиться у меня получится. Возьмешь две доски, положишь на ступеньки и толкнешь меня. Копать будешь в том месте, где я остановлюсь. И не дай мне свалиться в яму, пока выраешь, сколько надо. Подопрешь меня кирпичами, чтоб я не скатился ненароком, да смотри, чтоб собаки меня не столкнули, пока яма не готова. Собак лучше вообще запереть, — сказал он.

— А если ты помрешь в постели? — спросил мальчик. — Как тебя вниз по лестнице спускать?

— В постели я не помру, — сказал старик. — Как услышу, что Господь призывает меня к себе, побегу вниз. Постараюсь добраться до самой двери, если получится. Ну а если все-таки наверху, просто скатишь меня вниз по ступенькам, да и все дела.

— Господи Боже мой, — сказал мальчик.

Старик сел в своем ящике и ударил кулаком о край.

— Слушай меня, — сказал он. — Я тебя никогда особо ни о чем не просил. Я взял тебя к себе, вос-